

Борис Жутовский

рассказывает, как он рисовал обер-убийцу Судоплатова

Большая светлая гостиная. Эркер. За тюлевыми занавесками внизу на проезжей части — серый обелиск "Тремстам русским воинам, погибшим в Бородинском сражении". Дом, выросший на костях русского московского кладбища депутатским подвигом Федоса Шавлюгина, вместил в свои хоромы партийную элиту страны.

Вершины своей значительности он достигнет позже, когда в нем поселятся, а потом уйдут в мир иной Л. Брежнев, Ю. Андропов, Н. Щелоков. Прибьют и сковырнут мемориальные доски. Придет и сгинет охрана. Квартиры обветшают, и во дворе вырастут горы труб, ванн, битой плитки. Обелиск переедет к Панораме Бородинской битвы, а по костям русских воинов заедят машины и заскребют дворники. Соседнее еврейское кладбище тоже исчезнет под домом ЦК, и только мальчишки, играя на крутом спуске к реке, будут набивать шишки и ссадины о каменные плиты с ивритскими письменами.

...А тогда на диване под большой картиной в золотой широкой раме — красные маки — трофеи войны — сидела яркая дама с широким лбом, большими на краях лица глазами, аккуратным носиком и громким с трещинкой голосом. Мы с приятелем, сыном хозяев, изо всех сил старались "показаться". Яркая дама, Эмма Карловна, прощаясь, пригласила нас в гости.

Особняк Ягоды на улице Мархлевского, правда, только правая часть, был ее домом.

Где-то в тот час бродили двое ее сыновей: один — телефонный мастер, другой — школьник. Это как-то смутно всплывает из тридцатилетней давности вместе с роялем, чаем и тогдашним недоумением — кто, что, как? И мне рассказали, что муж Эммы Карловны, Павел Анатольевич, Павел, генерал-лейтенант, верой и правдой служивший по ведомству Лаврентия Берии, так перенервничал в недавних передрыгах (дело, как вы понимаете, происходит в 1955 или 1956 году), что впал в летаргический сон. А пока спал, его обогнали, повесили разного, приписали, обвинили, заклемили, потом разбудили и посадили. Правда, других его сослуживцев расстреляли, ну тех за дело, а его упекли во Владимирскую тюрьму, где он и есть, а Эмма Карловна героически бьется с нищетой и несправедливостью. Эмма Карловна действительно героически билась за выживание и себя, и своих близких. Ну не мытьем полов и окон, но шитьем платьев знакомым. И была прилюдно весела, говорлива и, что называется, живи-альна по всем статьям. Несколько раз мы пересекались в том же доме, всегда радые почесать язык и остаться довольными самими собой.

Тогда же я спросил у близкого мне человека, знавшего ведомство не понаслышке, о Судоплатове.

— А ты откуда его знаешь?

Я объяснил.

— Обер-убийца! Покушение на Троцкого, теракты контрразведки, расправа с присоединенной Прибалтикой, польские офицеры в Катини, лаборатории смерти по всей стране... Лучше забудь.

Ну вот не забывается, поди ж ты... И прошло много лет, почитай, жизнь...

В конце семидесятых, по ранней весне, меня опять позвали в этот дом, хотя "дом"

был в другом месте, в старом роились дети и внуки.

Приходи, поведемся, будут Эмма Карловна и Павел Анатольевич.

Так я увидел его впервые.

Очень невысокого роста. Густые с проседью волосы. Черные огромные брови. Улыбчивые маленькие глазки, один, впрочем, хворый. Рот без губ. Темный костюм, чистые башмаки, жилет. Руки сухие и мягкие. Маленькие.

Эмма Карловна слегка раздалась, но так же громко рассказывала что-то на уже другом диване под той же картиной.

С ними был младший сын "школьник", лохотенный, высокий, довольный.

Он все время говорил с отцом, как бы единственно для него интересным, щуря близорукость, в тених ресниц "машины" глаза.

Вышли покурить.

Зашел разговор о А. И. Солженицыне, в тот момент что-то в его взаимоотношениях с режимом вышло за пределы беспредела и всколыхнуло кровавое болото.

Схема полупраз лежала в русле: они (плохие), опять с ним (отважным), а мы (разделяющие с ним) непременно бы, если... Лестничная смелость. В паузе, вдруг обозначив скулы на пухлых щеках, он произнес:

"Я бы этого Солженицына собственными руками..."

Все затормозилось с чаю, торту. Эмма Карловна говорила, Павел Анатольевич улыбался...

И опять волоклись годы. И опять город, страна и друзья зарастали все глуше сорняком, являя кладбище возможностей в шестую часть суши.

Вяло шевелюсь в очередной надежде середины 80-х, я как-то позвонил старым знакомым и предложил событие: "Давайте я рисую Павла Анатольевича, ведь возраст, время..."

"Зачем?"

"Так я давно рисую тех, с кем прожил, видел, был".

На второй же день было согласие. И я поехал.

Квартира была другой, недалеко от телецентра, на заросшей домами улице, когда-то в вязак старой дороги к Останкинскому парку.

Эмма Карловна серьезно болела на широкой двухспальной кровати. Постаревшая, но все та же, узнаваемая, с голосом, глазами, мыслью. Комнаты и кухня были уставлены мебелью разных времен, разной сохранности — и все нелюбимое. Перевезенная да так и служившая — кукушкино гнездо.

За стеклами книжных полок в "кабинете" — фотографии выросших детей, внуков. Хозяин дома со слушателями школ КГБ в разных городах страны — все недавнее. Ни старых фотографий, ни одной дарственной.

Два маленьких пейзажа маслом. "Это Щербаков, наш человек, вам нравится?"

Книги. "Вот мои. Я ведь много пишу, но под псевдонимом, как вы понимаете. Вместе с И. Г. Я рою архивы, а она обрабатывает. Наш человек".

Постепенно росло чувство, что "наши" все многочисленнее и неизбежнее окружали меня все прожитое время и сейчас в разговоре начинают отделяться от стен, приподнимать паркет и подмигивать из-за люстры и подоконника, выползть из-под кресла и осыпаться с длинного белого хвоста летящего в высоте истребителя.

Мы сели работать.

Хозяин был одет чисто. В тапочках, но пиджаке, сорочке без галстука, но с за-

стегнутой верхней пуговкой. Второй глаз оживел, руки подсыхали и кое-где покрывались пятнышками возраста.

На всякий случай Павел Анатольевич спросил меня: зачем?

Я повторил легенду.

Очень хотелось чего-то услышать, но "объект" молчал.

Я спросил, вдруг осмелев и пытаясь подтолкнуть его к разговору: не хотел бы он написать о прожитой жизни?

"Нет, это невозможно", — ответил он сухо.

Не клеилось.

Почувствовал и мое любопытство, и свою невежливость хозяина, он вдруг стал рассказывать о героях собственных книг — "пламенных революционерах". Яд писательства сидел в крови — не просто же для заработка рыл он архивы? — и тайны империи за все время ее существования сложены были на полочках памяти стройно и компактно.

И очень хотелось остаться в истории — массовая "болезнь" человечества. Примеров тому несть числа — от крестиков первых крестоносцев на стенах храма Гроба Господня в Иерусалиме до названия кораблей и площадей по всей земле. А мое предложение портрета было из этого ряда — но совершенно безопасное и верное!

Потом рассказ перешел на войну и партизанское движение — одним из организаторов которого считал себя П. А.

Воображаемая война для многих из "них" была тем событием, которое, очевидно, делало их борцами за судьбу страны и народа, руководителями праведного и бесспорного, борьбы с врагом, победы, салютов. Она же давала им возможность варьировать свою роль, других соратников, незаметно, с годами насылая собственное сознание испугательным и героическим поведением. До сего дня никто еще всерьез не сомневался вслух о цене, заплаченной за эту победу, никто всерьез не обвинял ее генералов в безумной, "на авось", растрате человеческих жизней. Под этим списывались и ГУЛАГ, и лаборатории смерти, и весь разбой.

Несколько лет спустя, в 90-м году, я оказался на Колыме и Чукотке — в нескольких "сталинских" лагерях. В романтически-жутких уголках края в ущельях и на вершинах громоздились баракы, опутанные еще живой колючей проволокой, валялись расчески, миски, пуговицы, рукавицы — все, все.

На кладбищах, на отшибе, под несколькими камнями селери черепа со спленной крышкой, здесь же и торчащей, черепа почти без зубов... После долгих распросов уже в Магадане только один отважился (остальные молчали или уговаривали "не лезть"): лаборатории смерти Судоплатова. Это и в Карлаге. Мы тогда еще это знали.

Война была легальным козырем и для моего собеседника.

"А вот знаете, Боря, это, правда, было давно, я уже уехал из Одессы в Харьков, а Эмочка оставалась в Одессе", — продолжал он в перерыве, привалившись вполбоба рядом с Эммой Карловной.

"Я очень уставал, было много тяжелой работы, повсюду — враги, и я иногда вырывался в Одессу передохнуть, погулять с Эмочкой. И вот однажды, вернувшись в Харьков, я узнаю, что в городе появились антисоветские листовки. Их было много. Они были переписаны от руки детским почерком. Там слово "буржуазия" было написано с двумя ошибками. И мы поняли, что это действительно молодой человек писал эти листовки.

Для этого уже тогда были способы определения. Ну и мы, конечно, быстро нашли этого молодого человека. И тех, кто его вдохновлял. Ну с ними разговор был короткий, с теми, кто вдохновлял..."

"Конечно", — вставила Эмма Карловна, отнюдь не пытаясь поддержать П. А., а просто от переполнявшего ее за рассказ чувства соучастия и справедливости.

"Да, — продолжал П. А., — а нашим руководителем в то время был Косиор — вы, вероятно, слышали эту фамилию? Так мы доложили Косиору об этих событиях".

Мне очень хотелось спросить: доложили, уже хлопнув "вдохновителей" или еще нет? Но промолчал.

"Косиор выслушал нас очень внимательно, подумал и сказал: "Мальчика не трогать!". И вы представляете, Боря, мальчика не тронули".

Я опять молчал. Молчала и Эмма Карловна, ожидая.

Павел Анатольевич поелозил, гнездясь в подушке, вдохнул и сказал с выдохом: "Да, много было гуманного, много..."

